

Вторая любовь

Я была вторая Витькина любовь. А первую звали Риточка. Жила она на Подоле и превосходила меня во всех отношениях. Главное – ей было четырнадцать лет, как и самому Витьке, а мне всего девять. Любил меня Витька за необыкновенное сходство с этой самой Риточкой. Садился на соседнюю кровать и смотрел на меня, смотрел так долго, что у меня от неловкости начинало болеть лицо. Хотелось зевнуть или отвернуться. Или даже убежать. Но убежать я не могла. Я тогда еще и не ходила. Только-только начала сидеть, спустив с кровати усохшие ноги. За три месяца я привыкла к тому, что со мной случилось, и мне уже было смешно вспоминать, как в самом начале я таращила глаза в надежде, что все это мне снится, что я сейчас проснусь и смогу бегать, смогу двигать ногами, как захочу.

Итак, я уже сидела – и нельзя рассказать, до чего была счастлива. Меня нарядили в полосатую пижаму. Нянечка, наконец, расчесала мне, как следует, волосы и заплела косички. Косички, правда, получились драные, потому что волосы мои так сваялись, что половину пришлось выстричь. Мама передала мне голубые атласные ленточки и зеленые носочки. Вся больница ходила смотреть, как я сижу. Забежала даже сестричка из санпропускника, которую я видела только раз – когда меня привезла "скорая помощь". Приплыл белоснежный академик Богданов со всей своей свитой. Он увидел на тумбочке мои поделки, стал шумно восхищаться ими и даже попросил сделать специально для него букетик роз.

Эти крошечные розы я лепила из парафина. Свежий парафин светился и казался полупрозрачным, как белый китайский нефрит. Я раздавала букетики сотрудникам отделения. Так приятно было, что взрослые спорят из-за них, обижаются друг на друга! Я и для Витьки слепила такой – хотя вообще-то не дарила их ни своим больничным подружкам, ни мамашам, которые лежали с грудными детьми: я знала, что из нашего отделения ничего нельзя выносить, а судьба моих "произведений" меня очень заботила. Но Витька... Не то чтобы он мне очень нравился, но когда тебе девять лет, и взрослый мальчишка приходит в твою палату и сидит возле тебя часами, и еще приводит своего взрослого друга...

Этот друг, Петя, казался мне необычайно умным: он носил круглые очки, а под мышкой у него всегда была зажата книга. Был он старше Витьки на три месяца и гораздо выше его ростом, но почему-то во всем ему подчинялся – хотя и лениво, без особого рвения. Покорно входил в мою палату следом за Витькой, садился рядом с ним на соседнюю кровать и с послушным недоумением смотрел, когда Витька говорил ему:

– Посмотри на нее!

Видно было, что не находит он ничего интересного ни в моих полувыдранных косичках, ни в казенной пижаме, ни в сползающих зеленых носках.

Витьку такое пренебрежение очень оскорбляло.

– Да что ты понимаешь! – горячился он. – Ты на ресницы на ее посмотри! Видишь, какие длинные? И загнутые. Вот и у моей Риточки были точно такие! И волосики вот так же точно кудрявились!

И Витька, откинувшись, шурился на меня, как художник, и пальцем рисовал в воздухе вокруг своей остроконечной головы невидимые спиральки.

– Во врет! – тихо бурчал Петя и доставал из-под мышки книгу.

Но Витька не давал ему читать.

– Я вру? Я – вру?! Говорю тебе: такие же кудряшки! И личико такое же беленькое! Только глаза немножко другие. У моей Риточки глаза черные, как уголь!

При этом мне почему-то становилось обидно, и я втайне радовалась, когда Петя ронял свое неизменное "Во врет!"

Витька же просто-таки багровел от гнева и обращался уже не к Пете, а к кому-то другому, неведомому:

– Одно лицо! Как посмотрю на нее – так сразу сердце болит! – и он прижимал к груди растопыренную лапу и сгибался пополам, как от резкой внезапной боли.

– Во врет! – говорил Петя уже менее уверенно и с некоторым любопытством изучал сквозь толстые стекла очков Витькины корчи.

– Ее отец нас разлучил! – мучился Витька. – Конечно! Его можно понять! Она девочка из порядочной семьи. Круглая отличница. А я кто? Бандит. Отпетый человек... На моих руках кровь...

И он протягивал ко мне свои чистые длинные ладони, а Петя, успокоенный, снова начинал листать книгу и бормотал то же, что и всегда, и кажется, ничего другого я от него не слышала.

Лично я Витьке верила. У него было искреннее и мечтательное лицо хулигана. Хулиганы тогда все были похожи друг на друга. Цинично прищуренный глаз, полуприкрытый косой челкой. Кривая ухмылочка. Они носили серенькие кепки и жиденькие сиротские костюмы цвета сухой земли.

У нас во дворе их было трое. Все трое плохо учились, вечно ошивались в темном глубоком подъезде, откуда разило мусорником, сыростью и где разбитая лампочка скалилась пыльными осколками. По вечерам оттуда доносилось азартное дыхание и стуканье мехового шарика по ботинку (была такая "хулиганская" игра), металась туда-сюда, будто огненная муха, красная точка горящей папиросы, тенькала ненастроенная гитара, и старательно-непристойные голоса хрипели:

Когда я был мальчишкой, носил я брюки-клеш,
Соломенную шляпу, в кармане финский нож.
Я мать свою зарэ-э-зал, отца я зарубил,
Сестренку-гимназистку – в уборной утопил!!!

Тут раздавался сатанинский хохот, и родители шептали нам испуганно: "Не подходите к ним близко, не повторяйте такие слова!"

Впрочем, умели они себя вести и вполне прилично – это когда звонили в одну из трех квартир, где уже имелись телевизоры, и просились посмотреть кино.

Из всех наших "бандитов" выросли вполне порядочные люди. Надеюсь, что из Витьки тоже, хотя он был, конечно, "покруче". Взять хотя бы эту песню. Витька знал ее всю, до конца. В ней, как выяснилось, было куплетов двадцать. Несколько однообразных: герой убивал кирпичом бабушку Матрену, дедушку Захара и все более дальних родственников. Витька пел с таким чувством, с таким выражением лица, что, казалось, в песне изложена его собственная биография. На бранных словах он понижал голос или вовсе их пропускал: уважал мою скромность.

– Вот и Риточка моя такая! – умилялся он. – Сидит на лавочке, возле полисадничка... глазки опустит... Стесняется!

– Во врет!

– Зачем я ей такой конченный? – и голубой Витькин глаз щурился из-под чубчика, похожего на воронье крылышко, отпускал на волю светлую слезу. Броди свободно, ползай по впалой щеке...

В больнице Витьку не остригли налысо, как остальных мальчишек, поскольку он обещал, что повесится в случае такого унижения. Не то чтобы боялись этого всерьез – скорее, пожалели: узкая голова с худым острым лицом выглядела бы пугающе, особенно в придачу к бандитской усмешке и прищуре. Кстати, и то, и другое было отчасти следствием болезни. У Витьки были поражены мышцы правой половины лица. Когда скорая доставила его в больницу, температура у него была за сорок, глаз вообще не открывался, а рот был так перекошен, что, казалось, Витька сам себе говорит что-то на ухо. И выглядел он очень смиренным и нежным, так что все очень удивились, когда в бреду он начал страшно ругаться. Позднее сестрички шепотом передавали друг другу кое-что из наиболее ярких его выражений, но в первую ночь было не до того: боялись, что Витька не дотянет до утра.

Витька до утра не умер. Наоборот, стал с замечательной быстротой поправляться. Так что тетя Дуся, самая старая из наших нянечек, высказала даже предположение, что не было у Витьки никакого полиомиелита.

Сам Витька всех уверял, что попал в инфекционное отделение понапрасну.

– Мне, – говорил он, – рожу перекосило от простуды. Хотел на корабле удрать в Турцию. Не повезло!

– Во врет! – изумлялся Петя, но слушал эту историю с удовольствием.

Витька подробно рассказывал, как добирался зайцем до Одессы, как нашел в порту нужные ящики, как залез в один из них и заколотил сам себя изнутри. Как его ящик подцепили к крюку подъемного крана, и ящик страшно раскачивался, а Витька смотрел в щель и видел далеко внизу корабли и беспокойное море...

Дальше Витькино везение кончилось. Ящик погрузили так неудачно, что ночью, когда начался страшной силы шторм, его все время заливало ледяной водой.

– В общем, я решил, что это конец, – вспоминал Витька. – Прощай, думаю, жизнь молодая!

Я с ужасом воображала себе Витьку, скрюченного, как зародыш в учебнике анатомии. Вот он ждет в жестокой тьме набега следующей волны, упираясь в занозистые доски всеми своими локтями и коленями, вот волна обрушивается на него, он задыхается, захлебывается...

– Утром я всех матросов перепугал! – хвастал Витька. – Выходят на палубу и слышат: из ящиков кто-то матюкается... Им пришлось две тонны перетаскать, чтобы до меня добраться!

Затем он мрачнел и затравленно, как узник, оглядывал нашу палату, на которую сквозь пять огромных окон напирал снежный тяжелый январь.

– Эх, грелся бы я сейчас на солнышке, ел бананы...

Я Витьке верила. И очень ему сочувствовала, когда он бурел от несносного Петиного "Во врет!". Вместе с тем я боялась, что когда-нибудь Петя доиграется и получит. Не финским ножом, конечно, поскольку через санпропускник такая вещь пройти никак не могла, но достать какую-нибудь "кирпичину" Витьке ничего не стоило. А дальше – как пелось в его песне: "...и взял я кирпичину, и стал я за углом..." – где-нибудь в массажной или в умывальнике... Хватит бедного Петьку по затылку! Звякнут о кафель золотые очки, и будет Петька умирать в луже крови. Только чудо спасет его, и этим чудом буду я – но только голубоглазая и с белокурыми локонами до пояса. Приподниму его пробитую голову ангельскими руками...

Столько раз я представляла себе эту картину, что крепенький и безмятежный Петя стал казаться мне мучеником, который героически скрывает от всех свои страдания.

– Во врет! – ронял он с полным безразличием к жизни и смерти.

– Я вру?! – кипятился Витька.

Но драку все-таки не затевал. Витьке нравилось, что он дружит с "культурным".

– Петька начитанный! – часто повторял он с гордостью. – Инженером будет! Или даже ученым! А я... Мне одна дорога...

Витька понуро опускал голову, длинные руки повисали между коленями.

– Можешь мне не верить, Петька. А вот когда выпишешься из больницы, спроси у своих родителей: был такой случай, когда около "Абхазии" убили милиционера?

– За что ты его?! – ужасалась я.

– Ну, не я лично... – слегка отступал Витька. – У нас выбора не было: или мы его, или он нас. Он выследил нашего главаря. Пришлось застрелить. Жалко, конечно. У него семья... Дети осиротели... Я вот что вам скажу: никогда не ходите в "Абхазию"! Мы там каждый вечер шухерим.

Я никогда не бывала возле этого ресторана, но однажды вечером из окошка прогулочного катера видела горящую на вершине холма вывеску. И слушая Витьку, я представляла себе ночную реку, темные кипы зелени, скрывающие таинственную возню серой банды...

– А у тебя, Витька, тоже есть пистолет?

– Не-ет. У нас только финки, кастеты и свинчатки. Свинчаткой тоже можно запросто убить, если ударить в нужное место. Вот я скоро себе сделаю – покажу!

"Свинчатка" – это звучало ужасно. А выглядело так себе. Это был свинцовый комочек, свернутый из пластинок электродов. Витька натаскал их из кабинета электропроцедур, куда каждый день ходил на стимуляцию. Лежал на топчане с забинтованной щекой и сочувственно выслушивал медсестру Анну Кирилловну, у которой неизвестно куда исчезали электроды. Эту свою кувалдочку он укрепил на резинке, выдернутой из казенных трусов и изнутри пришил ее к пижаме, так что она постоянно болталась у него в рукаве.

Обзаведясь оружием, Витька очень изменился. Так выглядит человек, которому удалось хорошо приодеться. Положим, не было у него шляпы... тужель... А теперь вот есть – и он

постоянно помнит об этой шляпе, чувствует ее на себе. Так и Витька постоянно помнил о своей свинчатке. Вся его повадка стала уверенной и благодушной. Хотя непонятно было, от кого ему защищаться в инфекционной больнице, куда не пускают даже парикмахера.

Витька хвастал, что ударил этой штукой санитаря, который вел его на рентген. Не сильно. По плечу.

– Вот так вот вытянул резину, саданул и отпустил. "А? Что? У меня ничего нет!"

И Витька демонстрировал свои пустые руки, невинно моргал голубыми глазами.

Ох уж эти мне глаза! Помню, как-то мама... Я тогда уже могла подходить к окну, перебираясь от кровати к кровати, и мы кое-как объяснялись через двойное стекло. Я больше знаками, а ее было хорошо слышно, хотя нас разделял еще и высокий серый забор с острыми пиками, и для того, чтобы видеть детей, стоящих у окон, посетителям приходилось отступать с тротуара на мостовую. Машины там не ходили, это была какая-то странная площадь между двумя бывшими монастырями. В каменных нишах над воротами темнели позабытые иконы, над низкими крышами из глубины дворов выступали облезшие ржавые купола. Черные старухи, согнувшись пополам в сторону своей неведомой цели, спешили, до колен укороченные сугробами...

– Какой хороший мальчик! Глаза красивые! – кричала мама. – Сразу видно, что добрый! Я рада, что ты с ним дружишь!

Она указывала рукой на соседнее окно. У соседнего окна стоял Витька и перекикивался со своей матерью. Витькина мать была маленького роста и совсем старенькая. Она и одета была, как старушка. Передачи Витьке она носила в узелке. Скромненькие. Баночка повидла... плавленый сырок... пачка магазинного печенья – нам такое давали на полдник, и почти никто его не ел.

– Не на-до тра-тить-ся! – орал ей Витька. – Тут хорошо кормят! Только селедки принеси! Отвести душу!

– Нельзя, сынок! – кричала старушка. – Не принимают! Я носила помидоры соленые – Галя передала – так не взяли!

– Как Галя? – кричал Витька.

– Хорошо!

– Пусть придет! Пусть придет сюда! Я хочу ее видеть!

Старушка кивала. Поняла, не поняла?..

– Ты за девочкой присматривай! – кричала она. – Ее мама волнуется!

Витька делал жест рукой и надувал подбородок. Дескать, можете на меня положиться!

Так оно и было. С появлением Витьки жизнь моя стала намного спокойнее. Ну, например, он не давал мальчишкам подглядывать. Стеклопакет нашей палаты, покрашенная масляной краской, вся пестрела темными дырочками. Их постоянно процарапывали мальчишки. Приходит к тебе медсестра – уколы делать или парафиновые аппликации, а за дверью смехок и возня. Медсестра спешит, слушать ничего не хочет... Витька положил этому конец. Он становился у двери, и никто уже не пробовал к ней приблизиться.

Или вот еще. Стыдно признаться, но я тогда орала от любого укола, а когда меня обмазывали расплавленным парафином – и вовсе визжала, как поросенок. Витька никому не позволял острить на эту тему. Помню, как он осадил одну из мамаш, толстую Павленчиху.

– Ну, – сказала она, – парафин несут! Сейчас тут концерт начнется...

Витька, который уже выходил из палаты, вдруг остановился, обернулся к ней и спросил тихим злым голосом:

– А ты сама – пробовала? – и так пнул Павленчиху своим тяжелым взглядом, что та отшатнулась и перестала смеяться.

Кстати, зная, что Витька стоит за дверью, я старалась кричать как можно меньше, прикусывала руку или одеяло. Витька давал мне время успокоиться и остынуть, а уж затем входил, как ни в чем не бывало. Садился на соседнюю кровать, смотрел, как я леплю розы.

Когда парафин переставал печь и брался нежной пленочкой, я протискивала руку под свою толстую шерстяную упаковку и выщипывала кусочки, стремясь сразу же, одним движением придать им форму лепестка или листика. Лепить надо было быстро, не давая парафину остынуть. Обычно я успевала вылепить две-три веточки с розой и бутончиком.

Букетик получался ажурный, размером с ладонь. Остывая, парафин белел... и как бы наливался светом... Какое это было счастье! Какой февраль! Самый красивый февраль в моей жизни!

Наша огромная палата состояла из одних окон. Два окна выходили на заснеженную площадь, три – на старый, загрузший в сонный снегах сад. И в палате все было белое... Казалось, наши кровати стоят прямо среди сияющего зимнего сада, а мои букетики возникают из этого сияния, как нетающие снежные цветы.

– Так даже Риточка не смогла бы! – очарованно тянул Витька, бережно поворачивая мои розы подрагивающими пальцами. – Свой я здесь не оставлю! Как-нибудь передам на волю... Буду хранить всю жизнь!

– Ты что! – пугалась я. – Он же заразный! Отсюда ничего нельзя выносить! Хочешь, чтобы снова началась эпидемия?!

– Чепуха! – отмахивался Витька с выражением заядлого курильщика, которому суют брошюру о вреде курения.

Больше всего на свете я боялась кого-нибудь заразить. Вечно прикидывала, достаточно ли высок забор, надежны ли ворота. Волновалась, что птицы свободно перелетают туда-сюда, разносят инфекцию. С надеждой всматривалась в цепко спутанные ветви деревьев: они защитят, они не пропустят. Я деревенела от страха, когда родители приводили мою сестренку, и она махала мне варежкой с другого конца площади и скакала от радости в своей тяжелой черной шубке. Я не просила у родителей игрушек, хотя знала, что они готовы исполнить любой мой каприз. Даже наоборот: боялась, что они вспомнят об ослике, которого я долго клянчила перед тем, как попала в больницу. Желтенький, пластмассовый, простодушный, с радостно раскрывающимся ртом. Едящий ослик! Купят, передадут мне – и придется его здесь оставить. А вдруг надумают принести мою любимую куклу – еще хуже!

– Давай лучше так договоримся, – упрашивала я Витьку. – Когда нас выпишут из больницы, ты достанешь кусок парафина, приедешь ко мне и я тебе налеплю хоть двадцать букетов!

– Нет, – улыбался Витька со снисходительной лаской взрослого, и было видно, что ему хочется погладить меня по голове. – Я к тебе не пойду. Твои родители узнают, что я вор, и не захотят пускать меня в дом. Зачем тебе такие неприятности...

И мне нечего было возразить. А Петя не сказал "Во врет!"

Что было – то было: мы клали в карманы разные вещи – большие, неуклюжие, клали так, чтобы ощущать их телом, и Витька предупреждал нас, что сейчас их вытащит, но ни разу никому из нас не удалось поймать его за руку. Я еще напряженно прислушивалась, ждала – а яблоко или фонарик, или даже детский грузовичок, который я еле впихнула в карман, давно уже были у него. Так странно: вытащенный грузовичок продолжал колоть меня в бок острым углом кузова... Витька объяснял, что в этом ложном осязании и кроется главный фокус сложной науки карманного воровства.

Из Витькиных рассказов выходило, что где-то в дебрях подольских дворов существует настоящий воровской университет с неким Степанычем во главе. Степаныча Витька боготворил настолько, что не мог рассказать о нем ничего связного – одни вскрики и междометия. Впрочем, и о матери его я знала не больше. Еще меньше – о Витькиной замужней сестре Гале, которая так и не выбралась его навестить. В чем-то там она была виновата перед Витькой и его матерью... Витька сплевывал, когда упоминал о сестре, но очень по ней скучал. По поводу же Витькиного покойного отца оставалось лишь строить догадки. Витька обходил эту тему с воровской ловкостью. И где! В больнице, в которой одно только и было развлечение: рассказывать свою биографию и изучать чужие. Каких только диких подробностей, каких семейных тайн не узнала я, прислушиваясь к разговорам молодых мамаш!

Тогда я уже начала выходить в коридор. Ах, эти черные вечера в длинных пустых коридорах! Тусклая лампочка на сестринском столе. Укачав своих младенцев, мамыши собирались все вместе, усаживались рядом на кожаном диване. Одна обязательно слушала стоя, подпирая рукой поясницу. В тесных полосатых пижамах они казались мне огромными, как морские слоны. И все чиркало в гулкой темноте: "свекруха", "свекруха"!

Мы с Витькой и Петей сидели на другом диване. Витька ревниво следил, чтобы мы не отвлекались на "бабские сплетни" и слушали только его. В темноте Витькины истории казались особенно убедительными. Я будто видела кино: запущенные дворики с зарослями

колючих кустов, горы трухлявых ящиков под слепыми ограбленными церквушками, тайные лазейки на чужие улицы, деревянные лестницы, приколотенные к осыпающимся горкам, люки, подвалы... где так легко спрятать что угодно, даже пистолет, превратиться в привидение, хорошо обученное добрым Степанычем ускользать, смотреть невинно в глаза. "Ты сам не должен чувствовать..." – таинственные воровские заклинания в гнилом сарае... – или наоборот? – в опрятном домике с иконой, убранной бумажными цветами: васильки, ромашки, маки... Пачка "Казбека" по кругу, дружеское слияние голосов, хмельных от глубокого чувства...

Витька всегда плакал, когда пел. Даже если песня была о каком-то нерадивом директоре, который всех посылал "к председателю Дыркину, заместителю Бутылкину и главбухту Вытрезвилкину". А уж когда речь шла о жуликах, которые "провожают торбохвата в дальний путь" – так просто слезами заливался, будто заново переживал прощание с другом. Он откидывал левую руку, как бы держал невидимую гитару, а правой тенькал по невидимым струнам:

Лошадки службу сослужили,
Отца на кладбище свезли,
А сына в цепи заковали...

– А тебя не поймают, Витя?

– Что ты! У нас сигнализация по всему Подолу лучше любого телефона! Милиция только сунется – сразу сделаем шухер, никого не найдут! Вот и Риточка моя так же волновалась... – Он умиленно отстранялся, чтобы лучше меня видеть. В благодарной слезе дрожало отражение лампы. – Ну точно такие реснички! И губки такие же маленькие, даже еще меньше! Не могу! Так сердце болит! – И он сгубался, закусывая губу.

– Во врет! – говорил Петя, но голос его почему-то звучал в лад со всем этим ночным разговором.

Потом Витька отводил меня в палату. То есть шла я сама, цепляясь липкой от страха рукой за стену, на мягких, прогибающихся во все стороны ногах, а Витька бдительно пошаркивал тапочками по кафелю у меня за спиной.

Я была очень правильной девочкой и мечтала всегда поступать так же честно, как Павлик Морозов. И вдруг моим другом и покровителем оказывается вор, а я и не думаю заявлять на него в милицию... Довольна, что их воровская сигнализация такая надежная...

Совесь свою я успокаивала тем, что Витька, несомненно, привирает.

Ну... как я про локоны до пояса, про то, что училась в балетной школе у знаменитой балерины Анны Петровны Павловой. Может, думала я, никакого Степаныча нет на свете, как и моей Павловой. И потом... если и воровал когда-то Витька, то в больнице он это дело бросил. Разве что считать воровством похищение свинцовых электродов. Так они все равно быстро ломались, их заменяли... Ну, еще та штучка, которую он отломил от "диатермии". Она там и не нужна была, никто и не заметил...

Главное, железку эту он стащил ради меня. Вдруг прибежал запыхавшийся: "У тебя есть какое-нибудь варенье или конфеты – такое, что ты есть не будешь?" У меня "такого" была полная тумбочка. "Там пацану из первой палаты принесли ослика, которого ты хотела! Он согласен меняться!

И я получила вожделенного едящего ослика. Более того: Витька этой самой железкой отпил от его копыт подставку, которая мешала его пеленать и укладывать спать. И так я была счастлива, когда заворачивала ослика в носовой платок и набивала ему рот хлебом, что Витька тут же решил раздобыть мне куклу.

Куклу он рассчитывал выменять у Любы – была у нас в палате такая девчонка, моя ровесница, которая считалась ужасной обжорой.

– Эта что хочешь отдаст за жратву! – заверил меня Витька.

Но Люба неожиданно отказалась, хотя куколка – голыш из неприятной темной пластмассы – вечно валялась у нее под тумбочкой или под кроватью.

И тогда Витька пошел на настоящее мошенничество. Где-то в коридоре он подобрал такую же куколку, но с раздавленным лицом и оторванными руками. Дождавшись момента,

когда Любу увели на ванны, он взял ее куклу, снял с нее руки, нацепил их своей, раздавленной и в таком виде бросил вниз лицом среди палаты, так что Люба, вернувшись с процедур, решила, что на ее куклу кто-то наступил. Если она и огорчилась, то не оттого, что ей было жаль куклы, а оттого, что испортилась вещь, которая стоила денег.

– Эх, лучше бы я тогда поменялась на варенье! – сказала Люба.

Витька подошел, с притворным равнодушием покрутил обломки в руках.

– Знаешь, – предложил он, – отдай нам руки. Тебе они не нужны, а у нас есть такая же, но без рук. И можешь брать себе это варенье...

– Нет, – сказала Любка, зорко следившая за содержанием чужих передач. – Я хочу вон те орехи в сахаре, что ей принесли вчера!

Так у меня появилась кукла. Вид у нее был сиротский, но я тут же соорудила ей прическу из шелковых ниток, а из оранжевого лоскута с больничной печатью, оторванного от матраца, вырезала нечто вроде блузки. А воодушевленный Витька отхватил уголок своей простыни и, проявив неожиданную усидчивость, справил ей брюки. Эти брюки привели меня в восторг, но Витьке они не понравились.

– На кальсоны похоже, – поморщился он и куда-то их унес.

Вернулся Витька нескоро, очень довольный собой.

– Смотри, какая красота!

Штаны действительно больше не были похожи на кальсоны.

– Я макнул их в чернила! Ну-ка, выплетай свои банты, я их тоже покрашу!

Он собрал все мои ленточки – белые, красные, голубые – и выкрасил в густо-фиолетовый цвет.

Преображенная кукла вызвала в палате большой интерес. Люба даже попыталась требовать с меня банку варенья в дополнение к полученным орехам. Но Витька показал ей фигу.

Лично я с удовольствием отдала бы ей это самое варенье. Все-таки меня чуть-чуть сверлила совесть. Но я не смела ослушаться Витьки и утешала себя тем, что Люба с куклой не играла и вообще считалось, что она самая противная девочка в отделении. Ее дразнили "сало-шпиг", хотя она не была особенно толстая – скорее какая-то тугая и увесистая. На мой взгляд – так даже симпатичная. Вид у нее был какой-то празднично-летний: смуглая, с русыми волосами, выгоревшими на концах. Разве что нос не облезал.

Но ела она действительно противно. Каждый день Любе приносили передачу в огромном полупрозрачном кульке. Никто не знал, что там лежит. Люба погружалась в свой кулек головой и руками и долгое время чем-то шуршала. Хрумкала, кряхтела, пыхтела. Запахи были все какие-то солидные: мясные, рыбные. Никогда не пахло чем-нибудь сладким. Когда Люба выбиралась из своего кулька, вид у нее был утомленный, а под носом блестели капельки пота. Она деловито собирала жирные бумажки в большой ком и уносила его в туалет, но несносный запах жареной рыбы постоянно витал вокруг ее кровати.

И все же, все же... Я обещала себе, что верну куклу, как только Витька выпишется.

В то время Витька еще не давал никаких поводов для страха. Но что-то слегка изменилось в нем. То ли я больше не напоминала ему Риточку, то ли он и Риточку начал забывать... А может, просто устал быть трепетным рыцарем. Стала мелькать на его лице нехорошая трезвая улыбка... Как-то он при мне показал Пете странный жест рукой и спросил, знает ли Петя, что это значит. Петя не знал, и Витька зашептал ему что-то на ухо.

– Врешь! – отшатнулся Петя.

– И мне скажи! – попросила я.

Он открыл свой слегка скошенный рот, но передумал.

– Вырастешь – узнаешь.

По вечерам от него пахло папиросами. Он сообщил мне по секрету, что его друзья придумали какой-то фокус с веревками и через форточку в уборной передают ему запрещенные продукты.

– Вчера мне целую банку тюльки притащили, – похвастал он однажды. – Хочешь?

И мне вдруг захотелось.

– Я мигом! – обрадовался Витька.

Но вернулся он нескоро, весь вытянувшийся от удивления.

– Стырили! Только на дне несколько штук осталось! Ну, найду, от кого селедкой воняет – убью гада!

Оказалось, что селедкой пахло от двоих – от Любы и от маленького Васьки.

Витька прижал малыша, и тот сознался, что взять тюльку его подговорила Люба.

– Я нэ йив! Я тилькы покуштував! А чиколладу даже нэ куштува-а-в! Любка сама зйила!

Так стало ясно, куда делась Катина шоколадка. Кроме того, выяснилось, что до Васьки Любка посылала шнырять по тумбочкам маленького Сережку – того, который выписался неделю назад.

Витька позвал в палату старших девочек и при них открыл Любину тумбочку. Тюльки там не оказалось, но глянцевая обертка от шоколадки – с Пушкиным и няней в виньетке – лежала среди вороха пропавших в разное время вещей. По большей части моих, то есть моими они были раньше...

Дело в том, что мне носили очень много передач. Каждый день приходила мама. Забегала тетя, мамины подруги, няня, соседи по старой и по новой квартире. И все несли, несли печенье, фрукты, конфеты, соки – а я совсем не могла есть. Мне даже уколы делали специально для аппетита, но они не помогали. С маминого ведома и к большому моему облегчению часть этих гостинцев медсестрички передавали детям, к которым никто не ходил. В основном это были дети из других городов. Но были и брошенные. В соседней палате лежал маленький Жорка с парализованной ручкой, за которым уже полгода обещали приехать, но никак не приезжали, а от знаменитой "Инессы-баронессы" родители просто отказались, когда ей было полгода. Прямо написали: "У нас и без того пятеро детей. Зачем нам еще калека?"

К тому времени Инесса прожила в больнице уже больше года. Она была очень смешная: головка круглая, как мячик, толстый пузик с лупатым пупком... В отделении ее безумно любили и никак не могли решить, что делать с ней дальше. Я тоже обожала Инессу и мечтала уговорить родителей, чтобы они ее удочерили. Коробку конфет с серым котенком на крышке я совсем недавно отдала именно ей. И вот эта коробка лежала перед нами, с двумя несчастными конфетами, затерявшимися среди бумажных резеток...

Тут даже Петя вышел из себя.

– Ну сволочь! Убить ее мало! У кого, гадина, забрала! У Инессы!

– Ей каждый день полные торбы таскают, – загомонили девочки, – а она малышей заставляла воровать! Надо всем рассказать! Чтобы все знали!

– Не-ет! – сказал Витька. – От этого толку не будет. Мы сами ее проучим. Пусть только вернется!

Обнаружив в палате необычное скопление народа, Люба удивилась, но не очень: наша палата, самая большая в отделении, была чем-то вроде клуба. В проходе между кроватями стояли маленькие столики и стулья. Витька поставил на столик банку сливового варенья и спросил ласково:

– Любка, варенье хочешь?

– Да-а... – чуть настороженно ответила Люба.

– А я не очень люблю. Мне, понимаешь, много варенья нанесли, а я скоро выписываюсь. Жалко оставлять добро. Может, выручишь? – он протянул ей ложку.

Люба не совсем понимала, что происходит. На всякий случай она зачерпнула полную ложку и поспешно отправила в рот.

– Ну, а тюлечку ты любишь?

Они уставились друг на друга. Глаза у Витьки были светлые и добрые, как у ангела.

– Люблю...

– Сейчас ты у меня съешь и то, и другое. – Витька стал накладывать тюльку в банку с вареньем. – И попробуй пикнуть! Сама знаешь, что тебе за это будет!

Люба молча давилась невообразимым месивом. Слезы катились по ее щекам, но Витьке этого было мало. Он вытащил из тумбочки тюбик мятной зубной пасты.

– А это будет заправка для салата.

– Витька, не надо, она отравится! – взмолилась я.

– Не бойсь, дядя знает, что делает.

Все вокруг растерянно молчали.

– Ложку, ложку оближи! – скомандовал Витька.

Люба послушно облизала ложку и вопросительно уставилась на него.

И тогда я заплакала.

Плакала я долго. Все давно уже разошлись, а я лежала, накрывшись с головой одеялом, и никак не могла успокоиться. Витька стоял надо мной в растерянности и недоумении.

– Ну что это ты? Чего это ты? Я же нарочно это для тебя устроил! Чтобы тебе было веселее...

Кажется, именно после этой истории Витька стал совсем другим. Может быть, обидела его моя неблагодарность. Или друзья с воли сообщили о каком-то событии, требующем его непосредственного участия... Однажды я слышала, как он ругался в ординаторской со своим лечащим врачом. "Какой карантин! Какой карантин! Не было у меня никакого полимилита! Даром мне срок вкатили – и сиди тут с калеками из-за ваших ошибок!"

Вдобавок ко всему выписался Петя. Эпидемия закончилась, новые больные не поступали. Витька лежал в своей палате один.

А где-то за неделю до конца карантина он сбежал. В пижаме и шлепанцах. Выпрыгнул из окна туалета, перелез через забор, добежал до остановки и почти успел сесть в трамвай... Но Витьке не повезло. На этом же трамвае приехали студенты, проходившие у нас в отделении практику. Витьку поймали и привезли обратно в больницу. Я слышала, как его тащат по длинному коридору. Он страшно шаркал по кафелю упирающимися ногами и плакал, плакал с воем и бранью. Я не хотела попасться ему на глаза и спряталась за дверь, впопыхах уронив на пороге куклу. Казалось, Витька не видит ничего вокруг, но, поравнявшись с моей дверью, он неожиданно рванулся вбок и раздавил куклу каблуком.

Неделю он сидел в своей палате не выходя и перед уходом ни с кем не простился.

Я очень скоро забыла его. Я училась ходить на костылях. Так трудно было оторваться от стены и идти по пустому пространству коридора! "Посмотрите! – говорил практикантам академик Богданов. – Только ребенок может передвигаться при таком поражении!"

Меня стали вывозить на улицу в огромном кожаном кресле на колесах. Я лежала на веранде, увязанная, как младенец, в черный ватный мешок. От живого свежего воздуха, от яркого солнечного света слезились глаза.

Вокруг все звенело и таяло. Кончался самый красивый в моей жизни февраль. Клекотали невидимые голуби. Казалось, этот клекот высвобождается из-под оползающего, облизанного солнцем снега. Я представляла себе, как леплю из этого снега огромные, изумительные розы.

Потом был март, тоже очень красивый. А в апреле я раздала девочкам свои книжки и игрушки. Меня завели в ванную, раздели, а в соседней комнате одели в незнакомые новые вещи. Особенно мне понравилось вышитое красное пальтишко.

Только дома я сообразила, что у меня в косичках остались больничные ленты, да и то не сразу, а когда мама бросила их для стирки в миску и вода окрасилась в фиолетовый цвет.

1997 год.